



Иван Алексеевич Бунин

**Ермил**

# Содержание

#1 .....	0005
Комментарии .....	0029

**Иван Алексеевич Бунин**  
**ЕРМИЛ**

**В** наших местах есть довольно большой лес, который зовут Островами. Вот что случилось в нем несколько лет тому назад, на Святках, когда караулил его некто Ермил, малорослый, коротконогий, морщинистый мужичишка.

Лес от села недалеко. Когда нет ни метели, ни поземки, он виден с гумен; бледно сереют поля, склоняется к горизонту низкое небо, по горизонту висит сумрачная полоса тумана, а под нею залегает синеватая полоса леса. Но кажется она далекой — как все зимою. Если же поселиться среди этих волчьих и заячьих оврагов, окруженных лесными островами, в старой избе среди рыжих дубков и кустарников, торчащих из белых пушистых сугробов, то с непривычки будешь чувствовать себя за сто верст от людей. А Ермил был к лесу непривычен: прежде нанимался он все по селам, служил много лет при водокачке на станции, стоял при барде на винокурне.

Как многие из тех, кто никогда не видали добра ни от начальника, ни от ближнего, он давно мечтал быть от людей подальше. Они его не любили, он их чуждался. Они им помы-

кали, думая, что он дурак и безответный. Он же, помалкивая, копил в себе утеху — злое сознание, что далеко не так он прост, как думают. Он внушил себе, что все ему лиходеи, и жил, надвинув шапку на глаза, но сторожко. Переселяясь в лес, он гадал пожить хоть одну зиму спокойно.

Был он, как большинство мужиков, труслив. Но однажды на спор сходил в полночь в овин и уверился, что ему все нипочем. Уверенно переселился он в самое глухое осеннее время и в лес. Но оказалось, что он даже и представить себе не мог, до чего жутка лесная жизнь. Ух, как зловеще шумел невидимый лес в те черные, непроглядные ночи, когда пошли ноябрьские дожди, когда стали они лить по ночам без перерыва, когда, как говорится, хоть кричи, не докричишься ни души, когда в полях только ветер, черные пашни, пустые дороги да непробудным сном умершие деревни! В безграничном море тьмы чувствовал он себя и спал тревожно, при лучине, часто просыпаясь. Мечтал он, бывало: будет у меня в руках дубинка, буду в темные ночки похаживать по лесу — и уж

только попадись мне тогда вор, грабитель! Но оказалось, что в такие ночи и за избу-то выйти не возьмешь света белого.

День тоже не радовал: и днем было темно от туч, и днем лил дождь на лес, на лужи — нельзя было на порог показаться. «А придет зима, пойдут святошные вьюги — и совсем хоть пропадай!» — думал Ермил, валяясь после обеда на нарах, поджидая новой долгой ночи. Иногда он садился, собирался плесть лапти, да только все глядел и глядел в окошечко на мокрый кустарник, на тучи. Они к ночи сгущались. Нагоняя тьму, разыгрывалась буря. Ермил слезал с нар, открывал печку, вынимал пук лучин, искал спичек по печуркам. А пока возился, выбирая лучику посуше, и совсем смеркалось. А когда лучина разгоралась и он втыкал ее в светец, окошечко было уже черно. Он опять ложился — и, пользуясь мертвой тишиной и светом, на самую середину избы выбегала седая тощая крыса, жившая под печкой. В лесу же, в его мелочах, в непролазных чащах по оврагам, были волчьи притоны. В самую полуночную пору не раз, с визгом, с захлебывающимся лаем, кида-

лись в глубину сеней собаки, ночевавшие у порога. Схватив свою тяжелую, ржавую одностволку, шальной от сна, при дымящей лучине, крича, выскакивал Ермил в сени — и сколько огненно-зеленых глаз рассыпалось перед ним в черной тьме кустарников, по скасту оврага! С бьющимся сердцем, бледный, возвращался он, впуская за собою грязных собак, тотчас забивавшихся под лавку. Дымно, красно пылала лучина, роняя огненные искры в лохань под светцом, гоня дрожачие тени. Тяжко и глухо шумел обломный дождь. И Ермил брал рогач, подпояску, прикладывал рогач к притолкам поперек двери, захлестывал подпояской и его и скобку, туго-натуго затягивал... Потом опять ложился на спину, в шапке, в полушубке, задира тонкие короткие ноги в огромных лаптях на свою укладку. Пронзительные желтые глаза его не моргали.

И вот пришла зима. Ветер повернул. Гнилые бури и ливни сделали свое дело, раскрыли лес, дали студеному облачному небу свободно белеть сквозь него, оборвали листву и запалили ею, мокрой и ржавой, все овраги. Шел снег и таял. Но голый лес гудел уже туго,



сурово, по-зимнему. И Ермил повеселел было. Но не сравнялось и недели, как, обходя однажды верховье с дубинкой в руке и одностволкой на плече, слушая холодное, зимнее гуканье красногрудых, раздувавшихся по ветру снегирей и шлепая лаптями по лесным ухабистым дорогам, полным грязи и бледного снега, между тем как собаки, по своей манере, все бочком, все забирая в сторону, бежали впереди, за стволами, наткнулся он на страшное место: в раскрытых гудящих вершинах высоко висела и качалась на суке высокого дуба веревка, а не веревке — оскаленная, до кости объединенная муравьями собачья голова с двумя-тремя позвонками перегнившей и разорвавшейся шеи. На земле же, у корней дуба, лежали ребра, клоки истлевшей бурой шерсти. И, раскапывая эти клоки дубинкой, Ермил долго, долго, до ряби в глазах, и так и этак вглядывался в них, все стараясь сообразить: велика ли была собака, мужицкая ли, барская ли она, и кто и по какой причине — со зла или для забавы — удавил ее. И вдруг опустил дубинку, замер, скосил глаза в переносицу: а что, если и его вот так-то удавят?

Лес, глушь крутом, он один, как перст, на всем свете, жизнь его никому не дорога, о смерти его и узнать-то могут только через месяц и, узнав, не больно-то встревожатся, а тут идут праздники, Святки. Это время жуткое для человека, живущего в лесу, в поле. Что же будет чувствовать он в одиночестве, когда придет оно: одни волчьи свадьбы чего стоят! А ведь и помимо того не бог весть как просты вечера и ночи на Святках. И лихие люди пользуются этими ночами. Удалили же когда-то мужики лесника в Дехтярном, чтобы натопить из покойника каких-то свечей колдовских... У Ермила, как у стоящего над пропастью, заныло, заломило в ляжках. Он повернулся и, надвигая шапку, поспешно, неловко, задевая за корни, зашагал назад.

Снег валил непроглядный, весь день. К вечеру перестал. Стало теплей, затихло. Ермил слазил на потолок, нашел возле борова старые лыжи, привязал к ним новые оборки и опять пошел к дубу. Но снег был пушист, лыжи тонули, скользить на них Ермил не умел, поминутно попадал одной лыжей на другую — измучился, извихлялся и вернулся к

избе. Вечерело. Все вокруг покрыто было снегом. Сизо, с розовым оттенком белел противоположный бугор в мелком чернолесье. «Кажись, опогодится, — подумал Ермил, мучимый странным желанием еще раз поглядеть на собачью голову. — Схожу завтра пеший». Но опять поднялся ночью ветер — и опять на целую неделю понесло снегом. Зима спешила — до Святков оставалось чуть. И Ермил стал готовиться к ним.

Собачья голова не выходила у него из ума. Как только темнело, он крепко-накрепко связывал подпояской рогач и дверную скобку. Спал еще тревожнее. А чем свет слезал с печки, выпускал своего белого лохматого кобеля, — сучка куда-то сбежала, если только не попалась на зубы волку, — шел по сугробам в овраг, на пруд; возвратясь, затапливал, умывался, молился и принимался за работу — вернее, за думы. Были они нехороши, но он все больше входил во вкус их, сосредоточенно поддевая на деревяшке лыко, постукивая кочетыком. Дымил, сипел, стрелял хворост в печи. Сыро и тепло было в избе. За окошечком, на завалинке, задом к стеклу, сидел ко-

бель — наслаждался, зимнее отродье, тем, что его заносит снегом. А Ермил думал: как бы приучить его кидаться чужому человеку прямо на горло; где бы достать волчий капкан, чтобы к святочной ночи положить его возле порога, заровняв соломкой, снегом... Дни шли. Пора было обезопасить себя! Но как? Что выбрать из придуманного? Выбрать надо было то, что исполнимо, то, что вернее и тверже всего. Поумней злодея надо было оказаться! И страх Ермила таял, заменяясь расчетливой злобой.

В избе все белело, все светлело от сугробов вокруг. Лес порыжел, измельчал, день и ночь гудел в зимней дремоте под сумрачным небом. Непорочно-белые наносы, в которых тонули его скрипучие стволы и корявые кустарники, день и ночь росли, дымясь белым дымом. За порогом насквозь прохватывал крутой северный ветер. Весь в снегу ворочался Ермил с пруда. Скинув полушубок, затопив печку, березовым голиком подмахнув земляной пол, он обмывал под своими густыми волосами, вечно гревшими его маленький лоб, свое морщинистое лицо водой с ледяшками,

обдергивал свою бессменную посконную рубаху и становился на молитву, врозь раскинув носки сопревших лаптей. Щурясь, он устремлял пристальный, но невидящий взор на дощечку в углу, привычно шептал что-то и в определенные моменты с размаху кланялся ей. Но думы его были не возле бога. Не о нем думал он и после молитвы, сев за работу.

Он всю жизнь полагал, что верит в бога, но только полагал. Темная сила — другое дело: в нее он верил, чувствовал ее крепко. Сколько ее не только в мире, но и в человеке! Ермил клал лапоть на колени и долго смотрел своими желтыми глазами в пол. Он вспоминал всю свою жизнь, с тех дней, когда он по-людски женился, по-людски нанялся с женой на барский двор. Теперь ему пятьдесят, тогда было восемнадцать, но и тогда знали его корявым, коротким, а в придачу к тому, был он глуп. Женили его на рябой, высокой; рябая была смела и распутна, и он всем рассказывал, как она ухитрилась провести его, оказаться невинной. Он искал сочувствия, а что же вышло? Его же ославили дураком. Рябая любила медные и серебряные кольца и скоро

сошлась с приказчиком. Он было сунулся на него, защищая свою честь. Но как просто, при общем хохоте сбил с него приказчик шапку и прогнал со двора долой! И примолк Ермил, за-таился, покорился судьбе, понес, вдовцом, по чужим углам, камень за пазухой...

Случаи, такие, как в Дехтярном, правда, редки. Да чего не бывает! И, значит, пора подумать покрепче. Идти немедленно в село, как сгоряча хотел Ермил, просить помощи против лихих людей у старосты, урядника, добыть капкан, вырыть яму — все это никуда не годилось, все это скоро стало казаться пустой затеей: надо было похитрее выдумать. Порою, в спокойную минуту, думалось: ну, кто придет давить его! Но тут Ермил начинал разжигать себя. Кто — неизвестно, да в злодеях недостатка нет. За что? А за то-то! Разве не сжили его со станции, с винокурни — и за то только, что он густоволос, морщинист, коротконог, за то, что молчит-то он молчит, а всех насквозь видит. Разве не собирались рабочие то ноги переломать ему, то удушить его сонного полушубками, то, как будто нечаянно, столкнуть в горячую барду? Смирно шел он

на Казанскую по селу, а разве не орал за ним пьяный сапожник, Ванька Махор, первый разбойник на селе: «Погоди, погоди, я те подыму со лба волосы!» — Нет, видно, никогда не откажется человек искалечить, пришибить человека, если только с рук сойдет. Глянь, как рвет, молотит мужик вора, ставившего клок соломы. Клок не дорог, да ведь как такой случай упустить! За вора-то ничего не будет. И недаром, знать, пословица лежит: «Зол злодей, а ты позлей злодея окажись».

Наконец все было обдуманно. Пора было дело делать.

И прежде всего Ермил испробовал свою ржавую одностволку с самодельным прикладом. Он продул ее, пробил пистолем, зарядил утиной дробью, крепко забил паклей, вышел из избы и с час стоял среди острых сугробов и дымных вихрей, среди рыжего, гудящего леса, по колена в белейшем снегу, поджидая, не съедет ли где поблизости ворона. Ветром принесло ее наконец, глупую, каркающую, голодную. Проваливаясь в наносы по пояс, согнувшись, падая, набивая ствол снегом, Ермил пробрался к тому дереву, на котором раскачи-

валась она, присел, положил ствол на ближний сучок, долго водил мушкой по грязно-серой, сутулой от карканья птице, — наконец спустил курок. Его оглушило, ослепило, отдало в плечо и в щеку так крепко, что он свалился навзничь. Но тотчас вскочил и, вместе с яростно лаявшим кобелем, кинулся к своей добыче: откровенная, на клочки изорванная, она валялась, тонула в рыхлом снегу под тем же самым деревом, на котором, за мгновение перед тем, хрипела, тужилась, качалась.

Затем он ловко выбил палкой кусочек стекла в нижнем углу своего окошечка; попробовал всунуть в него дуло одностволки и присесть на скамейку возле самой лавки: дуло вошло отлично. Ночь будет если и мутная от метели, да все-таки видная, лунная, — это уж наверно. Вот и накидает он на завалинку соломы, чтобы таилось в ней торчащее из окна дуло; потом вернется в избу, потушит огонь, прильнет к стеклу и будет ждать — смотреть на тропинку, поднимающуюся по косогору против окна. Тот, кто будет идти по этой тропинке, ничего не рассмотрит в окне,



прикрытом соломой. Самого же Ермила, сидящего в темной избе, — тем более... А кто же именно идти-то будет? Теперь уж самому Ермилу приходилось выбирать. И, подумав еще маленько, он выбрал.

В Сочельник он пошел в село.

Теперь, после целых двух недель размышления об одном и том же и подсчета всего того, чем весь век радовали его люди, он совсем, казалось, освободился от страха. Он был возбужден, был как во хмелю, слабости уже не чувствовал. Напротив. «Нет, постой, меня голой рукой не возьмешь!» — думал он. Теперь, если бы ему сказали, что никто к нему не придет, он бы, кажется, молить стал о том. С дубинкой на плече, ковылял он среди полей, тонувших в тумане вьюги, по чуть видной дороге, к невидимому селу, гнул голову от снежных вихрей и решал, что именно надо сделать, у кого побывать и что кому сказать в селе.

Показались за снежной курой прутья лозняка по задворкам, по окраинам скудных мужицких гумен. Скучно, дико было и в селе, а все не то, что в лесу. В лесу и снег-то куда бе-

лее, пушистей, глубже, — не жилой это снег, звериный... Он прошел околицу, прошел мимо редких крестов, торчавших из слоистого серого наста на погосте, вечно на юру обдуваемого ветром, перекрестился на деревянную церковь, на решетчатые окна алтаря, до половины прикрытые сугробом... Дальше стало тише, теплей, свободней. Он осунул подпояску на самые кострецы, отвернул с углов обледеневший, затвердевший ворот армяка, пошевелил плечами в толстых низках... Зачернели люди, ехавшие в кабак, в лавку. Ермил не спеша переступил порог ее, стал в сторонке, держа, как нищий, мешок в левой руке, а дубинку в правой, скромно дожидаясь очереди.

Мужики в тулупах, в полушубках, засыпанных снегом, скрипели, входя, мерзлыми лаптями и валенками. Лавочник в поддевке, худой, с чистой желтой кожей, с большими кофейными глазами, с длинной, редкой бородкой, похожий на угодника, доведший свою молчаливую ловкость до щегольства, то перевертывал мерку с медными обручами в подставляемые мешки, ссыпая туда пшено, то

наливал, щедро переливая, бутылки керосином, то бросал свиные середки на иссеченный пень, взмахивал топором и с единого взмаха отрубал ровно столько розового мяса и мерзлого сала, сколько требовалось, лишь для видимости прикидывая на ржавых тарелках весов. Раздражающе пахло маринованными сельдями, ситцами, кругами хомутины, на вид как бы копчеными... Ермил сдержанно поздоровался, побалакал кое с кем, взял пшена, соли, спичек, кренделей; платя, нарочно показывал всем трехрублевые бумажки. Потом стал говорить, ни к кому не обращаясь, медленно пряча деньги и закуривая, хотя не курил никогда, — только затем, чтобы подольше побыть в лавке и попользоваться бесплатным табаком, махоркой, насыпанной лавочником в коробку из-под килек для угощения покупателей:

— А у вас тут хорошо в селе... Вам жисть. Не то, что мне, в лесу, в глухомани. Вам Святки идут, веселые, пированье, а мне — жуть... Я на это робок... Еще сдуру придет кто да убьет. Да что ж! Небось скажет, у него и деньжонки есть... Человек, мол, скрытный, береж-

ной... А не то, святошное дело, и так только — попугать вздумает... А я от того могу обеспокоиться. Я слабосилен. Стареть стал...

— А ты вот брещи так-то побольше, наклей на себя, — сказал лавочник, протягивая щербатому, почерневшему курному старику пачку нюхательного табаку. — Брещи побольше. Народ-то и разнесет.

Мужики подхватили:

— Верно. Это уж известно — только пусти слух по народу...

Ермил поглубже надвинул шапку, чтобы скрыть довольство. Постоял, дурацки разводя руками, и медленно вышел.

Заходил он и в кабак. Выпил сотку, купил бутылку, глубоко запрятал ее в карман и опять поговорил с народом, опять проделал то же самое.

А от кабака он пошел под гору, где жили духовные, шорник, коновал, Ванька Махор. Смеркалось, синели снежные сумерки, чернели под горой мещанские избушки. У Ваньки избушка была всех меньше, всех ниже и грязнее. На вогнутой стене ее, с осыпающейся коркой глины, висела дощечка, на которой

Махор нарисовал сапог, похожий на орудие каменного века, а вокруг него — много желтых и белых медалей. В темных сенях Ермил нащупал скобку, обмотанную тряпкой, и рванул к себе. В полутьме, в свинцовом полусвете у мерзлого и вечно мокрого, оттаивающего окна, у лавки, заваленной кусочками кожи, инструментом, жестянками с прокисшим клеем, согнувшись сидел сам Махор и его подручный Мишка. Больная старуха спала за ситцевой занавеской на нарах. И гнилью мещанского угла, и сапожным товаром, и всячески воняло тут. Было скучно, тяжело от присутствия больного человека, спящего в сумерки, и от двух пестрых кур, тоже дремавших возле печки. Но чернявый Мишка бойко стучал молотком по каблуку перевернутого вверх подошвой и зажатого в колени сапога, один за одним вгонял в него мелкие деревянные гвоздики. А Махор поспешно, видимо, с большой охотой, налаживал старую гармонию, вынимал из снятой крышки медные планочки с серебряными клапанами, попеременно прикладывал их к губам, без передышки тянул в себя воздух — и клапаны дребезжали, пели, пища-

ли. Было ему лет двадцать пять, но усов у него еще не было, лицо его было длинно, крупно и очень бледно, взгляд, бараний, белый, прям и нагл. Длинно, велико было и туловище его.

И Ермилу на минуту стало очень страшно. Он переступил порог — и оба работавшие подняли головы и, увидав его, расширили глаза от удивления. Но он и тут не потерялся.

Стараясь хоть изредка встречаться с глазами Ваньки и казаться простодушней, он, войдя, тотчас же заговорил о том, что вот был он в селе, кое-что покупал, да и надумал забежать прицениться, сколько, примерно, могут стоить сапоги.

— Головки? — отрывисто спросил Махор.

— Нет, зачем же... хворменные сапоги.

Махор поднял голову, и его белые глаза холодно повеселели:

— Это кому же?

— А хоть бы и мне, — сказал Ермил. — Что ж, ай я и этого не нажил себе за всю свою службу?

— Франт тоже! — сказал Махор, оглядывая его. — Да тебе околевать пора. Ай погодить

хочешь?

Мишка улыбался ядовито, с любопытством.

Ермил сощурил глаза и из-под волос покосился на сапожника. «Не околей ты прежде!» — подумал он. И с притворной развязностью ответил:

— Помри ты нынче, а я завтра. Ты про сапоги-то говори. А не хочешь — я к Кострецу, к хромому, пойду. Мне, брат, шесть целковых не деньги...

— А! Вон оно что! — свистнул Махор.

Он в упор посмотрел на Ермила и, уже совсем, как разбойник, не скрывающий своих мыслей, спросил:

— Значит, у тебя, правда, есть деньги?

Ермил дрогнул от этого взгляда и поспешно забормотал:

— Что ты, что ты... Какие у меня деньги? Откуда они у меня? Вот так-то болтают, плетут... А я сижу ни жив ни мертв в лесу... По ночам не сплю... Кто и пугать просто вздумает, и то навек не человеком сделает...

— Родимчик приключится? — сказал Махор.

— А ты что ж думаешь? — подхватил Ермил. — Время святошное... Кто-нибудь шутку вздумает, полушубок для смеху вывернет, да под окно, а мне и каюк...

— А! — опять сказал Махор, но уже равнодушно. — Значит, ты просто пофорсить пришел, побрехать... А я-то, дурак, с тобой зубы чешу.

И опять наклонился к гармонии. Но вдруг загоготал и подмигнул Мишке.

— Чего ты? — торопко спросил Ермил.

— А то чего же! — ответил Махор весело и загадочно.

Ермил посидел еще минуту, чтобы не заметили его торжества, — он понял этот хохот, он уже не сомневался теперь, что Ванька придет в вывернутом полушубке, — и, сославшись на то, что припоздал, наобещав непременно договориться «как-нибудь на гулянках» о сапогах, вышел вон, пока Махор зажигал лампочку. Была уже ночь. Мерзлые помои у порога тускло блестели. Высоко, над самой головой, ныряли и сияли в волнистых облаках луна и какая-то яркая звезда. Сиял порою и крест церкви, когда быстро шел мимо нее Ермил.



Пришел он домой поздно. Кобель сидел у избы, против луны, ждал его. Дружно и быстро вошли они в избу и тотчас же, не зажигая огня, легли спать. Спали крепко, но оба видели путанные яркие сны. Кобель ныл, вскакивал. Ермил проснулся среди ночи. Лунный свет белел пятном как раз посреди избы, на земляном полу. На лавке сидел бледно-зеленый, сквозной старик, в длинной рубахе, с гробовым венчиком на лбу — покойник батюшка. Ермил подошел к нему и усмехнулся.

— Батюшка? Ты зачем? — спросил он. — Я теперь тебя не боюсь.

Покойник, улыбаясь, поднял слабую руку и легонько перекрестил его:

— Спи, господь с тобой. Злых людей бойся.

И Ермил проснулся и увидел, что и не думал он слезать, подходить к лавке, а лежит, как лежал. Но еще много раз казалось ему, что он просыпается, пробует, крепко ли привязан рогач к двери, вздувает лучину, вынимает похлебку из печи и ест: забыл поужинать, придя из села...

Проспал он и весь следующий день, не топил даже. Перед вечером встал, поел вчераш-

ней, кислой похлебки и, помолившись, стал заряжать ружье. Было уже темно, но огня он не вздувал. Руки тряслись, заряд казался то мал, то велик. Кобель стоял возле и заглядывал ему в глаза вопросительно, совсем по-человечьи.

Часов в восемь он вышел на порог. Опять ныряла в вышине, в облаках, луна, но была ночь мутнее, белее, чем вчера: по кустам несло белым, поземкой.

Потом он долго, не шевелясь, не дыша, сидел на лавке возле окна, в крепко запертой полутемной избе. И вдруг — насторожился. Тихо, тихо приподнялся и прильнул к стеклу: в белесой мути, бледно озаряемой луной, на тропинке среди кустарника, точно мукой осыпанного, чернели две поднимавшиеся из-под горы фигуры. Впереди была та, что повыше... И не прошло и минуты, как она надвинулась на завалинку, затемнила свет и уже хотела было прильнуть к окошечку, как Ермил оглушительно, как из пушки, выстрелил.

Мишка кинулся, свалился назад, под гору. Махор остался на месте. Ермил, выскочив из избы за неистово лаявшим кобелем, нахло-

нился над лежащим ничком большим человеком с нарисованными углем усами, в вывернутом тулупе. Снег под животом его был окровавлен...

А через три месяца после этого Ермила ввели в залу суда. И он произвел на всех самое приятное впечатление. Войдя, он долго крестился на золотой образ в углу, отвесил низкий поклон судьям. Вызванный, он встал твердо, разобрал густые волосы на потеющем лбу, откинул голову, отвечал точно, охотно, щурясь добродушно, с хитрецей, по-стариковски, и к каждому слову прибавлял:

— Господа начальники, судьи праведные...

Ему, видимо, нравилось, что собралось столько народу для него, что в зале сидят барыни, купцы в сюртуках, что на столе сукно с бахромой, за столом мундиры, а у золотого образа горит красная лампадка. Он говорил:

— Мой великий грех, господа-начальники, судьи милостивые. Злые люди загубить хотели, а я того весь век ждал. Казните меня тюрьмой-каторгой...

В монастыре, где он отбывал наказание, не было человека работающее его: как чисто мел

он двор, как ловко колол дрова, как усердно таскал воду в братскую кухню!

И монахам понравился он. С ними и остался, отбыв покаяние, — «прижился к богу». Но в монахи постричься не пожелал.

— Нет, я дюже преступный, — говорил он с удовольствием.

*Капри. 27 декабря 1912*

# Комментарии

**Ж**урнал «Современник», СПб., 1913, № 1, январь, под заглавием «Преступление». Заглавие «Ермил» дано рассказу в сборнике «Последнее свидание».

Бунин записал в дневнике 9 мая 1912 г.: «Юлий, Митя и я ездили в Симонов монастырь. Потом в пятом часу были у Тестова <ресторатора>. Говорили о Тимковском <о писателе Н. И. Тимковском>, о его вечной молчаливой неприязни к жизни. Об этом стоит подумать для рассказа».

В рассказе «Ермил» неприязнь к жизни анализируется Буниным как один из существенных элементов психологии преступности.

Озлобленность, вечное недовольство всем претили Бунину, в ком бы это ни проявлялось — в интеллигентах или в темных деревенских людях. В рассказе «Пыль», увидев мужиков с «замученными» скукой лицами, рассказчик спрашивает: «Откуда эта мука скуки, недовольство всем? На всем земном шаре нигде нет этого».

По-видимому, в рассказе убийство с ритуальной целью факт не вымышленный. В журнальной редакции «Деревни» упоминается аналогичное преступление: «Мужики из Колодезей удавили в Курасовском лесу караульщика — с тем, чтобы разделить для каких-то колдовских целей веревку, снятую с мертвого».